

М. Е. Салтыков-Щедрин

Мелочи жизни

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С16

С16 **Салтыков-Щедрин М.Е.**
Мелочи жизни / М. Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2012. –
272 с.

ISBN 978-5-4241-3364-0

Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин, гениальный художник и мыслитель, блестящий публицист и литературный критик, талантливый журналист, был одним из самых ярких деятелей русского освободительного движения.

Его дар - явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова-Щедрина.

ISBN 978-5-4241-3364-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

ВВЕДЕНИЕ

I

Всякий истый петербуржец на три месяца в год обрекает себя на нечеловеческое житье. Конечно, я говорю не о «барах», которые разъезжаются по собственным деревням и за границу, а о простых смертных, которые расползаются по дачам, потому что за зиму Петербург их задавил. Кто поэкономнее, тот забирает из задних комнат мебелишку и старую, разнокалиберную посуду, увязывает на воза, садит сверху кухарку и едет. Другие нанимают дачи с мебелью и посудой и находят обломки и черепки. Постелей нет, или такие, что привыкать надо. Вместо простора — теснота, вместо тишины — судаченье соседей, вместо воздуха — сырость, вместо восстанавливающих солнечных лучей — туман и дожди.

Именно так было поступлено и со мной, больным, почти умирающим. Вместо того, чтобы везти меня за границу, куда, впрочем, я и сам не чаял доехать, повезли меня в Финляндию. Дача — на берегу озера, которое во время ветра невыносимо гудит, а в прочее время разливает окрест приятную сырость. Домик маленький, но веселенький, мебель сносная, но о зеркале и в помине нет. Поэтому утром я наливаю в рукомойник воды и причесываюсь над ним. Простору довольно, и большой сад для прогулок.

Болен я, могу без хвастовства сказать, невыносимо. Недуг впился в меня всеми когтями и не выпускает из них. Руки и ноги дрожат, в голове — целодневное гудение, по всему организму пробегает судорога. Несмотря на врачебную помощь, изможденное тело не может ничего противопоставить недугу. Ночи провожу в тревожном сне, пишу редко и с большим мученьем, читать не могу вовсе и даже — слышать чтение. По временам самый голос человеческий мне нестерпим.

Что это такое, как не мучительное и ежеминутное умирание, которому, по горькой насмешке судьбы, нет конца?

Знает ли читатель, что такое значит "пять минут"? Конечно, знает. Нет того русского человека, который многократно не отсчитал бы эти "пять минут", сидя в приемной, в ожидании нужного человека. Но вот наконец нужный человек появился в дверях, — сказал мимоходом два-три слова, — и всё забыто. Теперь помножьте эти пять минут на часы, на сутки, месяцы, на год, — что это такое? Сидишь и смотришь, как одна минута ползет за другой. Вот наконец доползла; начинаются следующие пять минут... ужасно! Нечто подобное должен испытать сидящий в одиночном заключении...

Что привело меня к этому положению? — на этот вопрос не обинуясь и уверенно отвечаю: писательство. Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный. Трудно поверить, а в провинции власть имущие делали гримасы, встретив где-нибудь мою книгу. "Каким образом этот «вредный» писатель попал сюда?" — вот вопрос, который считался самым натуральным относительно моих сочинений, встреченных где-нибудь в библио-

теке или в клубе. Один газетчик, которому я немало помог своим сотрудничеством при начале его журнального поприща, теперь прямо называет меня не только вредным, но паскудным писателем. Мало того: в родном городе некто пожертвовал в местный музей мой бюст. Стоял-стоял этот бюст год или два благополучно — и вдруг его куда-то вынесли. Оказалось, что я — вредный...

Надеюсь, что этого достаточно для самой богатой надгробной эпитафии...

Итак, я провел лето в Финляндии. Финляндия — это та самая страна, где, по свидетельству Пушкина, жила злая волшебница Наина и добрый волшебник Финн. Финн долго боролся с Наиной, но потом махнул рукой и уехал в Швейцарию доить симментальских коров. Наина осталась одна, и сколько она делает всяких пакостей своему отечеству — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Наводит тучи, из которых, в продолжение целых месяцев, льют дожди; наполняет страну ветрами, наворачивает камни на камни, зарывает деревни на восемь месяцев в снега и, наконец, в последнее время выслала сюда тьму-тьмушую русских пионеров.

Здесьние русские пионеры — люди интеллигенции по преимуществу. Провозят из Петербурга чай, сахар, апельсины, табак и, миновавши териокскую таможенную, крестятся и поверяют друг другу: — Вы что провезли?

— Папиросы для мужа.

— А я — целую голову сахару... Угадайте — где она у меня была?

Шепот: — Ах, проказница!

Я не имею сведений, как идет дело в глубине Финляндии, проникли ли и туда обрусители, но, начиная от Териок и Выборга, верст на двадцать по побережью Финского залива, нет того ничтожного озера, кругом которого не засели бы русские землевладельцы. И все из всех сил стараются. Деньги бросают пригоршнями, несут явные и значительные убытки, и в конце концов все-таки только и слышишь, что то один, то другой мечтают о продаже своих дач. Правда, что на место убывающих являются новые заселенны; но выйдет ли когда-нибудь из этого толк — трудно сказать. Уходит масса денег — вот всё, что до сих пор ясно. И всё — благодаря пущенным слухам о необыкновенной живительности здешнего воздуха, — репутация, далеко не на всех оправдывающаяся.

Мне кажется, что если бы лет сто тому назад (тогда и «разговаривать» было легче) пустили сюда русских старообрядцев и дали им полную свободу относительно богослужения, русское дело, вообще на всех окраинах, шло бы толковее. Старообрядцы — это цвет русского простолудья. Они трудолюбивы, предприимчивы, трезвы, живут союзно и, что всего важнее, имеют замечательную способность к пропаганде. В настоящее время они имели бы здесь массу прозелитов, как имеют их среди зырян, пермяков и прочих инородцев отдаленного севера. Укрываясь от преследований в глубь лесов, несмотря на «выгонки», они сумели покорить сердца полудиких людей и сделать их почти солидарными с собою...

Но, вместо того чтобы воспользоваться их колонизаторскими способностями, их били кнутом, рвали ноздри, урезывали языки и вызвали (так сказать, создали) ужасный обряд самосожжения.

За это, даже на том недалеком финском побережье, где я живу, о русском языке между финнами и слыхом не слыхать. А новейшие русские колонизаторы выучили их только трем словам: «риби» (грибы), «ривенник» (гривенник) и «двуривенник». Тем не менее в селе Новая-Кирка есть финны из толстосумов

(торговцы), которые говорят по-русски довольно внятно.

Финны живут разрозненно и селятся починками в два-три дома. Есть, однако, большое село — Новая-Кирка, которое, впрочем, составляет тоже грудку починков. Народ трудолюбив и любит страстно свою землю. Работает неумолимо, хотя частые непогоды мешают земледельческому труду. Землю удобряют исправно и держат достаточно скота, в особенности овец и свиней. Но коровы здешние малорослы, потому что в Финляндию, по какому-то недоразумению, безусловно запрещено ввозить скот из других стран, а следовательно, и совершенствовать местную породу трудно. Нынешний год все уродилось прекрасно, но с полей убрать было нелегко: целый месяц лили дожди. Мастеровых кругом совсем нет, кроме одного пекаря, который продает вразнос Выборгские крендели. Отхожих промыслов тоже нет, а стало быть, нет и бывалых людей. Финн замуравился в своей деревне, зарылся в снегах на две трети года и не двигается ни направо, ни налево. Есть, впрочем, в нашем соседстве два-три хозяина, которые скупают бруснику и ездят в сентябре в Петербург продавать ее.

О честности финской составила провербиальная репутация, но нынче и в ней стали сомневаться. По крайней мере, русских пионеров они обманывают охотно, а нередко даже и поворачивают. В петербургских процессах о воровствах слишком часто стали попадать финские имена — стало быть, способность есть. Защитники Финляндии (из русских же) удостоверяют, что финнов научили воровать проникшие сюда вместе с пионерами русские рабочие — но ведь клеветать на невинных легко!

Есть у финнов и способность к пьянству, хотя вина здесь совсем нет, за редким исключением корчемства, строго преследуемого. Но, дорвавшись до Петербурга, финн напивается до самозабвения, теряет деньги, лошадь, сбрую и возвращается домой гол как сокол.

Талантливы ли финны — сказать не умею. Кажется, скорее, что нет, потому что у громадного большинства их вы видите в золотушных глазах только недоумение. Да и о выдающихся людях не слыхать. Если бы что-нибудь было в запасе, все-таки кто-нибудь да создал бы себе известность.

О финских песнях знаю мало. Мальчишки-пастухи что-то поют, но тоскливое и всё на один и тот же мотив. Может быть, это такие же песни, как у их соплеменников, вотяков, которые, увидев забор, поют (вотяки, по крайней мере, русским языком щеголяют): "Ах, забёр!", увидав корову — поют: "Ах корова!" Впрочем, одну финскую песнь мне перевели. Вот она:

Давидовой корове бог послал теленка,
Ах, теленка!
А на другой год она принесла другого теленка.
Ах, другого!
А на третий год принесла третьего теленка,
Ах, третьего!
Когда принесла трех телят, то пастор узнал об этом,
Ах, узнал!
И сказал Давиду: ты, Давид, забыл своего пастора,
Ах, забыл!
И за это увел к себе самого большого теленка,
Ах, самого большого!

А Давид остался только с двумя телятами,
Ах, с двумя!

Я, впрочем, не ручаюсь за верность перевода. Может быть, даже самый текст вымышлен, но, во всяком случае, он близок к "перлу создания" и характеризует роль, которую играют здесь пасторы.

О науке финской я ничего не знаю; ей отгорожено место в Гельсингфорсе, а что она там делает — неизвестно.

Исправников и становых здесь днем с огнем не сыщешь. Но паспорта у русских дачников с некоторого времени начали требовать.

...

Но обращаюсь к "мелочам жизни".

Напрасно пренебрегают ими: в основе современной жизни лежит почти исключительно мелочь. Испуг и недоумение нависли над всею Европой; а что же такое испуг, как не сцепление обидных и деморализующих мелочей?

Вот уже сколько лет сряду, как каникулярное время посвящается преимущественно распространению испугов. Съезжаются, совещаются, пьют «молчаливые» тосты. "Граф Кальноки был с визитом у князя Бисмарка, а через полчаса князь Бисмарк отдал ему визит"; "граф Кальноки приехал в Варцин, куда ожидали также представителя от Италии", — вот что читаешь в газетах. Король Милан тоже ездит, кланяется и пользуется «сердечным» приемом. Даже черногорский князь удосужился и съездил в Вену, где тоже был «сердечно» принят.

Что все это означает, как не фабрикацию испугов в умах и без того взбудораженных простецов? Зачем это понадобилось? с какого права признано необходимым, чтобы Сербия, Болгария, Босния не смели устраиваться по-своему, а непременно при вмешательстве Австрии? С какой стати Германия берется помогать Австрии в этом деле? Почему допускается вопиющая несправедливость к выгоде сильного и в ущерб слабому? Зачем нужно держать в страхе соседей?

Добрые гении пролагают железные пути, изобретают телеграфы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают всё, чтоб смягчить международную рознь; злые, напротив, употребляют все усилия, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науки и мысли и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу.

Потом: "немецкие фабриканты совсем завладели Лодзем"; "немецкие офицеры живут в Смоленске"; "немецкие офицеры генерального штаба появились у Троицы-Сергия, изучают русский язык и ярославское шоссе, собирают статистические сведения, делают съемки" и т. д. Что им понадобилось? Ужели они мечтают, что германское знамя появится на ярославском шоссе и село Братовщина будет примежевано к германской империи?

Вот какие постыдные мелочи наполняют современную жизнь...

Это по части немцев; а по части россиян еще лучше.

*"Фабриканты и заводчики рассчитываются с рабочими купонами девяти-
стных годов..."*

"Фабриканты и заводчики ходатайствуют об увеличении ввозных пошлин..."

*"Фирма X проникла в земство и распоряжается по произволу выборами ми-
ровых судей..."*

"Фирма Z скупила чуть ли не целую губернию..."

"Леса наши гибнут, реки мелеют..."

"Крестьяне год от году беднеют, помещики также; а рядом с этим всеобщим обеднением вырастают миллионы, сосредоточенные в немногих руках".

Это уж мелочи горькие, но покуда никто их еще не пугается; а когда наступит очередь для испуга, — может быть, дело будет уже непоправимо.

Все мы каждодневно читаем эти известия, но едва ли многим приходит на мысль спросить себя: в силу чего же живет современный человек? и каким образом не входит он в идиотизм от испуга?

Еще одна характеристическая мелочь. В последнее время многие огульно обвиняли нашу интеллигенцию во всех неурядицах и неурействах и предлагали против нее поистине неслыханные, по своей нелепости, меры. В числе их немалую роль играл самосуд живорезов московского Охотного ряда, а некоторые не отступали даже перед топлением в Москве-реке. Разумеется, все это было говорено на ветер, но все-таки дает понятие о степени злопыхательства. И никому не пришло на мысль сказать во всеуслышание хотя бы умеренное слово в защиту интеллигенции. Хотя бы то, например, что единичные факты следует судить единично же; что обобщения в подобных случаях неуместны и вредны; что, наконец, если и можно забить интеллигенцию в грязь — что же тогда останется?

Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы «чумазы» с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки.

Идет чумазый, идет! Я не раз говорил это и теперь повторяю: идет, и даже уже пришел! Идет с фальшивою мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...

Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былие в поле...

Скучно и тяжело смотреть, как умы, вместо того чтобы питаться здоровою пищею, постепенно заполняются испугом. Испуг до того вьелся в нас, что мы даже совсем не сознаем его. Это уже не явление, приходящее извне, а вторая природа. Мы перечитываем всевозможные загадочности и безусловно верим, что таинственная их сила управляет миром и что судьбы истории всецело отданы им во власть. Но еще мучительнее думать, что этому мыслительному плену не предвидится конца, потому что и подрастающее поколение, прислушиваясь к непрерывному голошению старших, незаметно заражается им. Простую мелочь, которая исчезла бы от одного дуновения здорового, освежающего воздуха, мы сумели превратить в мелочь изнуряющую.

Стоит прислушаться к говору невольных пленников, возвращающихся из душного Петербурга на дачи, чтобы убедиться, до какой степени всеми овладела вера в загадочность будущего.

— Слышали? — раздается в вагонах, — граф Кальноки был с визитом у Бисмарка?

— А через полчаса князь Бисмарк отдал визит Кальноки, и спать оба имели продолжительное совещание...

— И при сем присутствовал итальянский министр Лампопо...

— Ну, уж и Лампопо?..

— Все они там Лампопо... всех бы их...

— А слышали вы, что прусские офицеры у Сергия-Троицы живмя живут!
 — Зачем их нелегкая принесла?
 — Утереть бы им нос, этим паршивцам немцам, — вот и вся недолга...
 — То-то, что платков нет...
 — А слышали вы, как купец Z с рабочими купонами девяностого года считался?
 — Вот так с праздником сделал!
 — Крестьяне, разумеется, жаловаться; однако...
 — А слышали вы, как купец X всё земство в своем уезде своими людьми заполонил?
 — Неужто? а я еще его дворовым мальчиком помню...
 — Да, батюшка, нынче хамы — сила!
 — Станция Териоки! — провозглашает кондуктор. Пленники вскакивают с мест и разбегаются по дачам.
 А на даче мать семейства, встречая своего главу, сообщает:
 — А ведь граф-то Кальноки... каков! Вот «наши» так не умеют... У Троицы, рассказывают, немца видели...
 — Ну, ну, ладно, матушка! Какие такие там «наши»! Тоже... туда же... Велика подавать суп, и будем обедать!

II

А с Баттенбергом творится что-то неладное. Его начали «возить». Сначала увезли, потом опять привезли. С какой целью? для чего лишний расход? чего смотрел майор Панов?

Бедный майор Панов! Сдается мне, что долго не быть ему подполковником. Разве новый Баттенберг придет и напишет:

"В воздаяние ваших заслуг по увозу Баттенберга 1-го жалую вас..." Да и тут навряд ли отдадут ему старшинство, потому что ведь эти Баттенберги подозрительны. Скажет: одного уж увез, — пожалуй, увезет и другого...

И зачем Баттенберг воротился? Пожил в княжеском конаке, пожуировал — и будет. Наконец совсем было уехал — вдруг телеграмма: "Возвращайтесь! нашли надежную прислугу". И он возвратился. Даже не спросил себя: достаточно ли надежна прислуга и долго ли ему придется опять пожуировать. Жить бы да поживать ему где-нибудь в Касселе или Гомбурге, на хлебах у нескольких монархов

А он, мятежный, ищет бури,
 Как будто в бурях есть покой!..

Вот где нужно искать действительных космополитов: в среде Баттенбергов, Меренбергов и прочих штаб- и обер-офицеров прусской армии, которых обездолил князь Бисмарк. Рышут по белу свету, теплых местечек подыскивают. Слушайте! ведь он, этот Баттенберг, так и говорит: "Болгария — любезное наше отечество!" — и язык у него не заплелся, выговаривая это слово. Отечество. Каким родом очутилось оно для него в Болгарии, о которой он и во сне не видал? Вот уж именно: не было ни гроша — и вдруг алтын.

А болгары что? "Они с таким же восторгом приветствовали возвращение князя, с каким, за несколько дней перед тем, встретили весть об его низложении". Вот что пишут в газетах. Скажите: ну, чем они плоше древних афинян? Только

вот насчет аттической соли у них плоховато.

Конечно, Баттенберг может сказать: моему возвращению рукоплескали. Но таких ли рукоплесканий я был свидетелем в молодости! Приедешь, бывало, в Михайловский театр, да выйдет на сцену Луиза Майер в китайском костюме (водевиль "La fille de Dominique"), да запоет:

Je suis Tchinn-ka la blonde,
Esclave du Sultan,
Et je parcours le monde
En dansant, en chantant... 1-1¹

как весь театр Михайловский словно облютеет. "Bis! bis!" — зальются хором люди всех ведомств и всех оружий. Вот если бы эти рукоплескания слышал Баттенберг, он, наверное, сказал бы себе: теперь я знаю, как надо приобретать народную любовь!

И находятя еще антики, которые уверяют, что весь этот хлам история запишет на свои скрижали... Хороши будут скрижали! Нет, время такой истории уж прошло. Я уверен, что даже современные болгары скоро забудут о Баттенберговых проказах и вспомнят о них лишь тогда, когда его во второй раз увезут: "Ба! — скажут они, — да ведь это уж, кажется, во второй раз! Как бы опять его к нам не привезли!"

* * *

Помните ли вы, читатель, Наполеона III? — наверное, позабыли! Между тем он почти 20 лет сряду срамил не одну Францию, но и всю Европу — и никто не замечал праха, который до краев наполнял этого человека. Все преклонялось перед ним, все считало его серьезною силою. Новогодние приемы его представляли собой как бы политическую программу на целый год, — программу, которая принималась безоговорочно к исполнению. Но наконец пробил-таки час, когда гноище, на котором он возлежал, раскрылось само собой. И что же? С последним громом пушек — всё смолкло, точно ничего и не было! Несмотря на его падение и смерть, события продолжали идти своим чередом, как будто он никогда никаким «концертом» не дирижировал. И теперь имя его до того погрузилось в мрак, что не только никто о нем не говорит, но даже и не помнит его существования. Концерты европейские продолжают разыгрываться без него, как разыгрывались при нем, а жизнь народная продолжает по-прежнему свое течение, особо от концертов.

Имена Ньютонов, Франклинов, Галилеев, Ломоносовых будут переходить из века в век; имена Наполеонов и других концертантов потонут в болотных топях. Таков закон вещей, и никакое насилие не может его обойти. Не обойдет его и история.

Правда, что Наполеон III оставил по себе целое чужеродное племя Баттенбергов, в виде Наполеонидов, Орлеанов и проч. Все они бодрствуют и ищут глазами, всегда готовые броситься на добычу. Но история сумеет разобраться в этом наносном хламе и отыщет, где находится действительный центр тяжести жизни. Если же она и упомянет о хламе, то для того только, чтобы сказать: было время такой громадной душевной боли, когда всякий авантюрист овладевал человечеством без труда!

Скажет она это потому, что душевная боль не давала человечеству ни разви-

ваться, ни совершать плодотворных дел, а следовательно, и в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв, который нельзя же не объяснить. Но, сказавши, — обведет эти строки черною каймою и более не возвратится к этому предмету.

* * *

Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его. Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений! И всему этому, и пришедшему извне, и придуманному ради удовлетворения личной мнительности, он обязывается послужить, то есть отдать всю свою жизнь. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда! Мелочи, мелочи, мелочи — заполонили всю жизнь.

Возьмем для примера хоть страх завтрашнего дня. Сколько постыдного заключается в этой трехсловной мелочи! Каким образом она могла въестся в существование человека, существа по преимуществу предусмотрительного, обладающего жиздительною силою? Что придавило его? что заставило так безусловно подчиниться простой и постыдной мелочи?

Встречаете на улице приятеля и видите, что он задумчив и угнетен.

— Что так задумались?

— Да как-то не по себе... Боюсь.

— Бойтесь? чего же?

— Да завтрашнего дня. Все думается: что-то завтра будет! Не то боязнь, не то раздраженье чувствуешь... смутное что-то. Стараюсь вникнуть, но до сих пор еще не разобрался. Точно находишься в обществе, в котором собравшиеся все разбрелись по углам и шушукаются, а ты сидишь один у стола и пересматриваешь лежащие на нем и давно надоевшие альбомы... Вот это какое ощущение!

— Ах, пустяки какие!

— Пустяки — это верно. Но в том-то и сила, что одолели нас эти пустяки. Пльвут со всех сторон, впиваются, рвут сердце на части.

— Но что же может быть завтра такого страшного?

— То-то, что ничего не известно. Будет — не будет, будет — не будет? — только на эту тему и работает голова. Слышишь шепоты, далекое урчанье, а ясного — ничего.

— Все-таки я не вижу, что же тут общего с завтрашним днем?

— И завтра, и сегодня, и сейчас, сию минуту, — разве это не все равно? Голова заполонена; кругом — пустота, неизвестность или нелепая и разноречивая болтовня: опускаются руки, и сам незаметно погружаешься в омут шепотов или нелепой болтовни... Вот это-то и омерзительно.

И действительно, кругом слышатся только шепоты да гул какой-то загадочной работы при замкнутых дверях. Поневоле вспомнятся стихи Пушкина:

Смутно всюду, темно всюду.

Быть тут чуду! Быть тут чуду!

Только не «чудо» является в результате, а простой изнуряющий вздор.

Возьмем теперь другой пример: образование. Не о высшей культуре идет здесь речь, а просто о школе. Школа приготавливает человека к восприятию знания: она дает ему основные элементы его. Это достаточно указывает, какая тесная связь